

Monica Hesse
They Went Left

МОНИКА ХЕССЕ

ИХ
повели
НАЛЕВО



Москва
2021

УДК 821.111-31(73)
ББК 84(7Coe)-44
X40

Monica Hesse
THEY WENT LEFT

Copyright © Monica Hesse, 2020
This edition published by arrangement with Curtis Brown Ltd.
and Synopsis Literary Agency

Перевод с английского *Елены Татищевой*

Художественное оформление *Ольги Сапожниковой*

В коллаже на обложке использованы фотографии:
© Paradise studio, Flas100, santoelia / Shutterstock.com
Используется по лицензии от Shutterstock.com

Хессе, Моника.

X40 Их повели налево / Моника Хессе ; [перевод с английского Е. Татищевой]. — Москва : Эксмо, 2021. — 352 с.

ISBN 978-5-04-114240-7

Германия, 1945 год. Солдаты, освободившие концлагерь Гросс-Розен, сообщают пленникам, что война закончилась, но восемнадцатилетняя Зофья Ледерман не верит в это.

Ее жизнь полностью разрушена: три года назад она и ее младший брат Абек были единственными членами их семьи, которых отправили подальше от газовых камер. Всех остальных — ее родителей, бабушку и тетю — повели на верную смерть.

Теперь Зофья хочет отыскать брата и попытаться начать новую жизнь. Но так ли это просто для человека, пережившего столько потерь?

УДК 821.111-31(73)
ББК 84(7Coe)-44

ISBN 978-5-04-114240-7

© Татищева Е., перевод на русский язык, 2021
© Издание на русском языке, оформление.
ООО «Издательство «Эксмо», 2021

*Посвящается Эндрю,
моему младшему брату*



КОГДА Я В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ ВИДЕЛА АБЕКА:

Колючая проволока, ржавые металлические узлы. Меня переводили в другой концлагерь. Собственно, переводили нас всех, девушек, которым повезло, поскольку мы все еще могли шить и стоять на ногах. Охранницы вели нас мимо мужской половины лагеря, где мужчины строились на перекличку. Наши глаза жадно искали среди них, этих живых скелетов, наших отцов и братьев. Теперь мы уже научились перешептываться, не издавая ни звука и читая по губам.

— Розен? Розен или Вайс? — девушки произносили фамилии членов своих семей одними губами, будто слова молитв. — Есть ли здесь Розены из Кракова? Из Лодзи?

Я заметила, что его щеки еще не потеряли округлости, а глаза по-прежнему ясны. Должно быть, мужчины постарше делились с ним своим хлебом. Мы также иногда делились пайками с самыми младшими из нас. Увидев, что Абек не выглядит изможденным, я мысленно вознесла благодарность за все те разы, когда сама подкармливала хлебом чью-то младшую сестру, содержащуюся в нашем бараке, своего рода натуральный обмен со вселенной в надежде на то, что кто-то из мужчин делает то же самое с моим братишкой.

— Абек Ледерман, — одними губами сказала я, обращаясь к девушке, шагающей рядом. — В третьем ряду.

Она повторила его имя, повернувшись к забору, и я увидела, как по ту сторону колючей проволоки мужчины расступились, и кто-то взял его за плечи и вытолкнул вперед.

Я знала, что в нашем распоряжении есть только несколько секунд — едва-едва хватило бы для того, чтобы сжать его руку, что-то ему передать. Но что? Почему я не приберегла полкартошины, не припрятала кусок бечевки?

Шедшая впереди женщина остановилась, чтобы вынуть камешек из башмака. Глупо. Эта охранница ударит ее за такое нарушение лагерных правил, да и другие поступили бы так же. Как только женщина нагнулась, охранница саданула ее дубинкой по спине, и она вскрикнула от боли. Но одновременно она оглянулась, посмотрела на меня, и я поняла, что задержка — это подарок; за это время я успею поговорить с братом.

— Зофья! — крикнул он. — Куда они увозят тебя?

— Не знаю, — одними губами ответила я. Я чувствовала, что к глазам моим подступили слезы, но заставила себя сдерживать их, чтобы не терять время. Я просунула руку сквозь забор и сжала его мальчишеский кулачок, который все еще с легкостью помещался в моей ладони.

— Абек и Зофья, — сказала я.

— От А до Z, — отозвался он.

— Когда я встречу с тобой в следующий раз, мы дополним наш алфавит. И мы с тобой будем целы и невредимы, и все у нас будет хорошо. Обещаю, я разыщу тебя.



Иногда мне снится эта сцена. Я вижу ее ясно, четко, так, что могу разглядеть каждый волосок на его голове. И всякий раз, когда мне снится этот сон, Абек кивает в ответ на мое обещание. Как будто он доверяет мне, как будто верит. И на миг меня охватывает умиротворение.

Но затем что-то меняется. Лицо Абека в моем сне искажается, и он с болью в голосе говорит:

— Кое-что произошло. Но пока нам еще можно об этом не говорить.



Часть первая



Нижняя Силезия, август 1945 года

Очереди. Я умею стоять в очередях. Это дается мне так хорошо, потому что в очередях не надо думать, а можно просто стоять. В этой очереди стоять легко, потому что людей передо мной немного и потому что я понимаю, для чего она нужна, и это веская причина.

Перед головой очереди за столом сидит женщина официального вида — по-моему, она из Красного Креста. Это красивый стол, словно вынесенный на улицу из чьей-то столовой. Вот только он стоит не на ковре, а на брусчатой мостовой, место подсвечников на нем занимают стопки бумаг, и от него пахнет средством для полировки мебели — или же мне это кажется из-за того, как выглядит этот стол. А рядом с бумагами стоит одна-единственная чашка, словно напоминание о прежней жизни этого обеденного стола. Чашка чаю для сидящей за ним функционерки.

— Следующая, — говорит она, и мы движемся вперед, потому что именно так и работают очереди — они движутся вперед.

Я оборачиваюсь на дверь, но остальные девушки-ничегошницы не выходят, чтобы попрощаться. Из нас я покидаю госпиталь первой. В первые недели после окончания

войны более здоровые пациентки, которые уже окрепли, всегда прощались, всегда строили планы. А посмотрев в окно палаты, мы почти всегда могли увидеть проезжающий мимо грузовик, полный немецких солдат, едущих к себе домой, польских солдат, возвращающихся к себе домой, русских солдат, изредка канадских, и все они разъезжались кто куда, все направлялись домой в разные стороны, как будто мир представлял собой настольную игру, в которой все фишки оказались не в тех углах коробки.

Но тогда никто из девушек-ничегошниц еще не был достаточно здоров, а потому мы так и не создали общих правил поведения для тех случаев, когда кто-то из нас уходил. У нас нет адресов, которыми мы могли бы обменяться, у нас нет ничего. Мы ничего не весим, ничего не чувствуем, и мы несколько лет существовали, питаюсь ничем.

Наш разум представляет собой ничто, самое главное ничто, именно поэтому мы все еще и остаемся в госпитале. Наш разум слаб, и в нем царит раздраз.

— Зофья! Я не знала, хочешь ли ты сохранить это письмо.

Я оборачиваюсь на голос и вижу поспешно выходящую из двери светловолосую миниатюрную медсестру с красными губками бантиком. Она протягивает мне письмо, написанное моим собственным почерком. *«Вернуть отправителю»*. Отправителем была я сама, а адресатом — я точно не знаю, кто был адресатом именно этого письма. Уже несколько месяцев, с того самого дня, как у меня достало сил держать ручку, я пишу письма всем, чьи адреса когда-либо знала. *«Вы его видели? Скажите ему, чтобы он подождал меня»*. Но их адреса перестали быть их адресами, а почта перестала быть почтой. А я перестала быть самой собой — но мне стало ясно, что я не смогу сделать то, что мне нужно, пока остаюсь на больничной койке. Чтобы отыскать брата, мне придется заставить себя оторваться от нее.

Именно поэтому я, невзирая на то что мой разум еще слаб, и стою сейчас вне госпитальных стен, а остальные девушки смотрят на меня из окна.

«Скажите ему, что врачи не разрешают покидать госпиталь, пока мне не стало лучше, — написала я. — Скажите ему, что мне не станет лучше, пока я не оставлю госпиталь и не разыщу его».

— Вот, возьми еще и это, — говорит светловолосая медсестра, передавая мне теплый на ощупь узелок. Еда. Ее тепло так приятно греет мой живот. Я начинаю разворачивать узелок, чтобы вернуть ткань, но сестра говорит, чтобы я оставила ее себе.

Так что теперь этот кусок клетчатой ткани принадлежит мне. Он мой, а значит, теперь в этом мире у меня есть целых шесть моих собственных вещей. Потом я смогу сложить эту ткань пополам и повязать ею волосы или разрезать ее надвое, что даст мне два треугольных носовых платка; тогда у меня станет семь собственных вещей. У меня уже есть платье, нижнее белье, пара обуви, крупная денежная купюра, а также документ, в котором говорится, что я была узницей концлагеря Гросс-Розен. Мне сказали, что этот документ послужит пропуском в организации, оказывающие помощь жертвам войны, и поможет получать продуктовые пайки. Сотрудники Красного Креста, выдавшие мне его, объяснили, что он станет самым ценным моим достоянием.

— Следующая, — говорит женщина-функционер Красного Креста. Она примерно того же возраста, что и моя мать, и на лбу ее видны морщины, только-только начавшие делать ее лицо более мягким. Очередь позади меня удлинилась, поскольку из госпиталя вышли и другие выписывающиеся пациентки. На помощь первой функционерке подходит вторая.

Светловолосая медсестра не сводит с меня глаз.

— Ты что-то забыла? — спрашивает она.

«Урбаняк, — вспоминаю я. — Ее фамилия Урбаняк».

— Моя обувь. Где моя обувь?

«Почему я не поняла этого раньше?» Я только что опустила взгляд на свои ноги, и увидела, что коричневые кожаные ботинки, в которые я обута, принадлежат не мне.

— Это и есть твоя обувь. Твоя новая обувь. Помнишь? — она говорит мягко, и я вспоминаю. Теперь эти коричневые ботинки мои, потому что, когда меня привезли в этот госпиталь несколько месяцев назад, на мне были башмаки, которые выдали нацисты, тесные и состоящие из одних дыр. Мои отмороженные ступни так распухли, что медсестра не смогла снять те башмаки, и ей пришлось их разрезать. Сестры говорили, что я тогда плакала, но сама я этого не помню.

Оказывается, если тебе ампутируют отмороженные пальцы ног, третий и четвертый, ты не утрачиваешь способности держать равновесие и ходить.

— Ты уверена, что не хочешь остаться подольше, Зофья?

— Теперь я вспомнила про обувь. Я забыла только на минутку.

— Сегодня ты уже один раз спрашивала о ней.

Я выдавливаю из себя улыбку.

— Дима уезжает; он едет на новое место службы, и у него есть машина, на которой он меня отвезет.

Лейтенант Дима и привез меня в этот госпиталь, только тогда это был не госпиталь, а просто здание, под завязку забитое койками и пузырьками с йодом. А принадлежащий Красной армии джип Димы был забит людьми. Три дня назад русские освободили Гросс-Розен, но в конце концов стало ясно, что никто из нас, даже русские солдаты, понятия не имеет, как должно выглядеть освобождение тех, кого нацисты содержали в концлагерях. Сотни и сотни наших так не смогли выйти за лагерные ворота, потому что были слишком слабы. Когда Дима нашел меня в женском бараке, я была почти без чувств — потом он

рассказал мне об этом на польском, которому его научила родная мать. И хорошо, что я тогда была в обмороке, поскольку к тому времени, когда он привел меня в чувство, солдаты уже отдали узникам все свои сытные пайки — размякший шоколад, говяжью тушенку.

А наши желудки оказались слишком слабыми для такой питательной пищи. Я видела, как узницы, месяцами жившие на одной картошине в день, поедали тушенку и больше не могли встать с нар. Нас освободили, но мы продолжали умирать и умирали десятками.

— *Все уже закончилось*, — говорили нам солдаты в конце января. Однако война тогда все еще шла, она продолжалась еще три месяца, и солдаты имели в виду другое — они хотели сказать, что эсэсовцы к нам больше не придут.

— *Теперь все уже точно закончилось*, — говорили нам медсестры в мае, поя нас с ложечки подслащенной водой и корня овсяной кашей. Как-то раз в коридоре госпиталя раздался крики и аплодисменты — Германия капитулировала.

Что же именно закончилось? Что они хотели этим сказать? Я находилась в сотнях миль от дома, и у меня не было ничего — даже ботинки у меня на ногах были не мои. Так что же закончилось? Что?

— Следующая, — говорит сотрудница Красного Креста, и я делаю еще один шаг вперед.

Появляется облако дыма, урчит движок — подъезжает Дима на своем джипе. Увидев в очереди меня, он высккивает из машины, и меня опять поражает его вид — как же он похож на киногероя с афиши, на киношного солдата. Квадратный подбородок. Красиво очерченные скулы. Добрые глаза. Дима, который ставил на мои письма почтовый штемпель, который по моей просьбе спрашивал своих друзей-офицеров про Биркенау и узнал, что этот лагерь смерти был освобожден за несколько недель до Гросс-Розена. И который повторял мне это, когда я забывала, и потом